

О МОЕЙ МАМЕ

Все у нее было, у моей мамы, — были мужчины, были замужества и разводы, аборт и дети, любовь и измена, слезы и кровь, и очень много, даже слишком много всяких бед и несчастий — и маленьких, и средненьких, и чуть побольше, и совсем огромных, как сама жизнь. Но через все эти преграды она прошла. А помогли ей выжить ее удивительная доброта, ее улыбки, ее смех и поразительный оптимизм, абсолютно ни на чем не основанный и ни с какой стороны не подпитываемый.

Ох и досталось же моей маме в этой юдоли!

Собственно, досталось всем, кто имел счастье родиться и жить на одной шестой. Но тем, кто родился в начале века, досталось, что называется, от души: две полнометражных войны, четыре голодовки, три революции, индустриализация, коллективизация, тридцать седьмой кровавый, архипелаг ГУЛАГ, полная и окончательная, и еще многое и многое.

И сквозь все эти социальные катаклизмы и катаклизмочки тонкой струйкой пробежал живой ручеек моей мамы, то делая крутые повороты, то исчезая в песке, то натываясь на каменные преграды. А все же протек, просочился, пробежал!

Мне всегда казалось, что я знаю про свою маму все, даже ее любовников. Помню, одному из них, капитану, я в отместку по утрам заплетал завязочки от кальсон. Я много лет потом гордился этим — и тем, что умею плести вчетверо, и тем, что совершал столь геройские поступки.

Хотя какой же он, этот капитан, был любовник! Была война, был бой, как все бои, со взрыва-

ми, выстрелами и смертями. Мама, схватив меня и младшего братишку, залезла с нами в погреб за домом и еще накрыла нас ватным одеялом. Но все равно было слышно, как дико воют снаряды перед взрывом.

А по нашему дому, по простой сторожевой будке на железной дороге, била с ближайшего бугра наша же артиллерия, потому что за домом стояла немецкая рация, а чуть поодаль за стогом сена — пушка. Один из снарядов угодил прямо в крестовину оконной рамы на кухне. Головка снаряда пробила стоявшую напротив русскую печь и, растеряв все силы и почему-то не взорвавшись, осталась на лежанке, слегка опалив матрас, на котором в это время лежал младший братишка.

Второй снаряд ударил в угол сарая, и наша какого-то грязно-серого цвета старая кляча выскочила из него и то ли сослепу, то ли обезумев от грохота и страха, понеслась прямо навстречу своей гибели.

А после боя командир батареи, что так метко била по одинокой сторожевой будке, вытащил нас из погреба и сколько-то дней жил вместе с нами в нашем полуразрушенном домике. Но мне все равно было обидно и за маму, и за папу. И я заплетал и заплетал завязочки от его кальсон с четко выраженным мстительным чувством.

А еще потом был 1948 год, когда забрали маму. Братишку увезли к деду с бабкой под Житомир, а я остался совсем один. Жуткое было время, хотя я тогда вряд ли понимал это в полной мере. Маме «дали» по злополучной 58-й стандартных десять плюс пять и плюс тридцать девять, то есть десять

лет лагерей плюс пять лет поражения в правах и после всего и вся запрещение проживать в тридцати девяти наиболее престижных городах страны.

Прошли годы и годы, прежде чем я сообразил собрать мамины воспоминания. По моей просьбе она исписала и прислала мне три ученических тетрадки в клеточку. Кроме того, я сохранил за многие годы мамины письма, присланные в разные годы. Ну и плюс то, что помнил сам.

Все это я расположил в хронологическом порядке, что само по себе было непростым

делом. И тогда оказалось: чаще всего мама рассказывала о том, как ее арестовали, о несправедливом суде и о жизни в лагерях ГУЛАГа, то есть о «самом ярком и самом насыщенном» периоде своей жизни.

Мне трудно оценить то, что я сотворил, во-первых, потому, что воспоминания моей мамы порой переплетаются с моими собственными. А во-вторых, потому, что писать прозу жизни куда как труднее, чем что-либо иное. Во всяком случае, так мне представляется.

АРЕСТ И СУД

Мама рассказывала, что накануне ее ареста множество мелких событий как бы предупредили ее о надвигающейся беде. Так, накануне она вместе с мужем и мною смотрела фильм «Побег с каторги». Я, правда, этот фильм совсем не помню, знаю, что маме он очень понравился. Затем утром в день ареста мама с мужем рассказали друг другу, что кому снилось. Ему приснилось, что у него выпал глазной зуб и было во сне очень больно. А маме приснилось крушение поезда, причем поезд не сошел с рельсов, а просто развалился пополам.

Двадцать первого августа 1948 года после обеда к нам на Привокзальную улицу, что в городе Станиславе, а ныне Ивано-Франковске, пришли двое молодых серых мужчин и устроили в нашей квартире настоящий погром — все перевернули и все перерыли. При аресте у мамы забрали золотой браслет, дульный пистолет образца 1834 года и семнадцать тысяч рублей. Каждый раз, вспоминая об этом, мама заново переживала эту дикую сцену и не могла сдержать слез и возмущения: «Все эти пацаны забрали у меня! Детей, мужа, заработанное потом и кровью».

Сразу после ареста маму отвезли в Закарпатье и посадили в Ужгородскую тюрьму. Почему в Ужгород*? Да потому, что раньше мы там жили, и не прошло еще и года, как после введения в Закарпатье пограничной зоны нас выселили оттуда, — в связи с организацией погранзоны МВД

очищало Закарпатье от всех подозрительных и неблагонадежных. А мы были неблагонадежными, так как более двух лет жили на оккупированной территории, под немцами, и, следовательно, вполне могли оказаться немецкими шпионами, если уже не были таковыми.

Любопытно, что в мамином деле фигурировало аж две единицы огнестрельного оружия, два пистолета. Первый — небольшой изящный браунинг в дамском исполнении. Этот пистолет маме выдали в НКВД** в июле или в августе 1941 года, перед самым приходом немцев в город Симферополь, где она в то время работала инспектором детской комнаты милиции. За несколько дней до оккупации мама со мной на руках безуспешно пыталась выехать с Крыма, но немцы захватили Керчь и перекрыли пути для эвакуации. Тогда мама закопала свой браунинг возле колодца где-то на окраине села Старый Крым. Однако впоследствии найти его не смогла. Значит, раз — за потерю оружия или, может быть, даже за добровольную сдачу его немцам.

История второго «стволо» похожа скорее на выдумку, чем на правду. Когда мы жили в Ужгороде где-то в сорок шестом или в начале сорок седьмого, один мамин знакомый работник МВД принес нам, то есть мне и моему младшему брату, в подарок прекрасной сохранности пистолет с деревянной инкрустированной рукояткой, на

* Ужгород — центр Закарпатской области на Украине, красивый город, фактически на границе трех государств, мы жили там в 1945–1947 гг. и навсегда сохранили любовь к этому городу.

** За давностью лет мама (да и я тоже) путает НКВД, МВД и КГБ. Поэтому для ясности приведу краткую справку: а) НКВД РСФСР образован 26 октября (8 ноября) 1917 г., за свою жизнь претерпел ряд преобразований и 15 марта 1946 г. переименован в МВД СССР; б) 15 марта 1954 г. образован КГБ; в) 13 января 1960 г. МВД СССР распалось на республиканские МВД.

Поэзия

БЛАГОСЛОВЕННО ВСЁ НА ЭТОМ СВЕТЕ

Е. К.

*Благословен и день забот,
Благословен и тьмы приход.*

А. Пушкин

...а есть покой и воля.

А. Пушкин

*Благословенно все на этом свете —
Листающий страницы книги ветер,
Открытый настежь, пахнущий шалфеем
Полночный греческий словарь: Кассиопея,
Персей и Андромеда...*

День погас.

Крылом Пегаса ночь укрыла нас,

*...Мы крали яблоки; они к твоим ногам,
Как золотые звезды, падали, и нам
Желанья не загадывать хотелось,
А утолять. И утомялось тело
От яблок, и созвездий, и услад:
Мы потрясали мироздание, как сад;
И плод запретный был тяжел и сладок,
И на любую из земных загадок,
Как царь Эдип, я находил ответ;
Цикады пели, и струился ровный свет,
И падал на твое простое платье,
Как ты сама упала мне в объятия,
И мир тогда благоговел перед тобой.*

*Покой и воля; только снится вечный бой,
И снится яблоневый сад, звезда горит,
И напролет, напропалую, до зари
Я различу ее одну во тьме вселенной...*

*Лишь утром из-за греческой Елены
Война начнется, замычат быки,
И Одиссей уйдет из дому...*

Александр МЕЩЕРЯКОВ

которой четко была видна дата изготовления — 1834 год. «Таким пистолетом стрелялся Пушкин», — сказал он нам. Щедрость этого товарища обьяснялась просто: ему нравилась наша мама, она многим тогда нравилась.

Пытаясь выстрелить из этого пистолета, мы с братом набили в ствол серы от спичек, так как пороха у нас в тот момент не было, а нетерпение было велико. Сверху мы засадили найденный на пустыре пыж. Однако сколько мы ни жгли спички на полке, пистолет так и не выстрелил. К счастью. Когда же маму арестовали, то пистолет оказался «заряженным». Таким вот образом на шее у моей сугубо мирной мамы оказалось аж два ствола сразу.

И это не все: маму также обвинили в том, что она хотела (!) уехать за границу да еще и увезти с собой советского офицера. А дело было так. В Ужгороде, уйдя из КЭЧ* гарнизона, мама работала в архитектурном отделе горисполкома и по долгу службы курировала строительство Ужгородского аэродрома. Строили аэродром военные. Начальник аэропорта, некий Титов, — в каком он был звании, я не знаю, — стал, как говорится, бить клинья к моей маме. Но мама любила своего мужа и была счастлива в браке, поэтому подбить эти самые клинья никому и не удавалось. Но ей, естественно, было приятно внимание мужчин, ей нравилось подшучивать над ними.

В апреле 1947 года, перед самыми майскими праздниками, маму телеграммой вызвали в Житомирскую область к родителям моего отца (теперь это другая страна — Украина), где в то время у деда и бабы жил мой младший братишка. Отпросившись на работе, она помчалась в аэропорт к Титову: так, мол, и так, надо срочно лететь в Житомир за сыном. А Титов в рад:

— Тебе, Раечка, куда угодно на первый же самолет!

Мама возьми и пошути:

— Тогда — в Париж!

— Зачем? — оторопел Титов.

Дело в том, что до образования в Закарпатье пограничной зоны из Ужгорода довольно свободно можно было перебраться за границу. Мы тогда жили в доме, который назывался Рафанда, в квартире человека, который — и все об этом

* КЭЧ — квартирно-эксплуатационная часть, это подразделение существует под разными названиями в воинских частях всех времен и народов.

знали — действительно уехал в Венгрию. И, не предвидя последствий, мама отшутилась:

— Шляпки модные примерить.

Знала бы она, чего стоят такие шутки! Не добившись от мамы взаимности, этот вшивый ухажер написал куда следует донос: дескать, Ремизовская собиралась удрать за границу и подбивала его к тому же. А тогда, как теперь все знают, было такое время, что любую чушь принимали всерьез. Следователь на допросах не раз тыкал маме в лицо этим доносом.

Далее по маминым письмам:

Запихнули меня в клетку без окон, размером метр на метр. Ни прилечь, ни даже присесть по-нормальному — можно только стоять в полусогнутом состоянии. И, когда я совсем уже обессила, повели меня на допрос. Вопросы задавались самые странные, провокационные, с подтекстом. Потом заставляли что-то подписывать. Они это умели, у них был большой опыт состряпать дело — был бы человек.

После неоднократных сидений в карцере и других издевательств и надругательств (а все это время меня держали в одиночной камере) меня стали мучить галлюцинации. Раньше я не знала, что это такое.

Допросы, допросы — и всегда только по ночам. А днем не дают заснуть. Вечно заглядывает стражник в оконце двери камеры и, если видит, что заключенный спит, начинает стучать ключами в железную дверь камеры с таким ожесточением, что этот стук раздается громом по всей тюрьме.

Казалось бы, к чему допросы? «Оружие», изъятое у меня при обыске, и донос Титова вполне обеспечивали мне десять лет лагерей как минимум. Но следователь явно хотел большего. У НКВД уже, видимо, были какие-то подозрения относительно Юзефа (это муж мамы, его история будет дальше). Если бы я не выдержала и проговорилась, то мне бы дали все двадцать пять, а Юзефа наверняка бы расстреляли.

На допросах я обычно сидела, сцепив руки и моля Бога, чтобы дал мне силы выдержать все и не погубить близкого мне человека. Следователь орет на меня, чтобы я расцепила руки, очевидно, понимая (а они были большими психологами), что принятая мною поза помогает мне противостоять его натиску. А мне казалось, что, сцепив

руки, я удерживаю в себе то, что ни в коем случае не должно вырваться из меня.

— Ремизовская, ты почему руки сцепила? Немедленно расцепи!

Но Бог услышал мои молитвы и помог мне: я не выдала Юзефа и тем самым помогла и себе. Не помогла следователю и подсадная утка, как их называли в тюрьме. Я же называла ее змеей.

Как-то после допроса, когда я без сил добралась до камеры и на мгновение забылась в коротком сне, мне приснилось, будто открывается дверь в камеру и вползает змея в белом платочке. Я так испугалась, что тут же вскочила на ноги. В то же мгновение загремели ключи, и в камеру ко мне втокнули женщину. Она была чуть постарше меня и — в белом платочке! Поздоровались. Не прошло и двух часов, а может быть и часа нашего совместного сидения, как она начала настойчиво расспрашивать меня о моем деле. В тюрьме это не принято! Я пару раз уклонилась от прямого ответа. И вдруг мне ясно представилась змея в белом платочке. Я тут же перестала отвечать ей совсем. Помучившись со мной еще какое-то время и ничего не добившись, она постучала в дверь, и ее забрали от меня. Больше я ее никогда не видела.

На последнем допросе следователь стал требовать, чтобы я подписала то, что он настряпал на меня. В этот момент я вдруг как-то обрела силы, возмутилась и сказала, что никогда не подпишу его стряпню. Ах, как же он смеялся надо мной! Прямо-таки захлеб — радостно, весело, с чувством полного превосходства.

— Да не подписывай, — сквозь смех говорил он. — Это никому и не нужно. Так, формальность. Был бы человек, а дело мы ему пришьем, подпишет он его или нет. Десятку я тебе, Ремизовская, гарантирую.

И действительно, мне и без моих подписей дали десять лет лагерей, плюс пять и плюс тридцать девять.

«Дело» моей мамы для следствия было предельно простым. Двадцать пятого октября 1948 года в Ужгороде состоялся «суд». По чисто политической 58-й статье Уголовного кодекса РСФСР отстегнули ей десять лет исправительных лагерей, пять лет поражения в правах, а после отсидки лагерного срока запрещение на всю оставшуюся жизнь проживать в тридцати девяти крупных городах страны.

В лагере, как и в школе, у каждого своя кличка: у кого обидная, у кого оскорбительная, а у кого-то и ничего, приличная. У меня кличка была вполне приемлемая — Мамочка. Получила я ее уже в Китае.

Но сначала был мой первый этап — длинный и мучительный. Судили меня в Закарпатье, в Ужгороде. И оттуда везли потом через всю страну на восток. Вагоны для перевозки скота были забиты зэками сверх всякой меры. В вагонах — духота и вонища. Нет воды. Нет хлеба. Но зато есть конвой, бряцание оружием и собачий лай.

И все это движется, движется, движется. Ужасно! Чувствуешь себя маленькой козявкой — не человеком, нет! — а маленькой козявкой, от которой ничего не зависит в собственной судьбе. Сначала город Львов — там мы простояли две недели. Потом Москва Первопрестольная, знаменитая Бутырка — опять две недели. Потом Свердловск. Потом Омск.

В Омске был случай. Этап наш был большой: и мужчины, и женщины. Помню, высадили нас из поезда и повели к тюрьме. Открыли ворота тюрьмы и только собрались нас впускать, как вдруг началась страшный переполох. Ворота быстро закрыли, а нас охранники сбили в кучу.

Говорили, что нашу колонну зэков какие-то иностранные корреспонденты фотографировали, а конвой пытался им помешать. Но те, видимо, хорошо подготовились и сфотографировали все, что хотели. Потом быстро сели в машины — их было человека три или четыре — и умотали.

В это время ворота тюрьмы вновь открылись, и оттуда выскочило несколько охранников с собаками и открыли стрельбу. Но не по машинам корреспондентов. Оказалось, что несколько наиболее шустрых зэков, воспользовавшись суматохой, совершили побег. Стрельба, лай собак, крики, в общем, переполох был хороший.

Следующим большим пунктом на нашем пути был Новосибирск. Там ничего необычного не произошло. И, наконец, Иркутск. Но до самого Иркутска мы не доехали — нас высадили на станции Китой и погнали от станции прямо

вглубь тайги, где километрах в пяти был женский лагерь. А недалеко от дороги был мужской лагерь. Народу в тайгу нагнали много — затевалась большая стройка.

Огромный участок девственной тайги был разбит на квадраты по четыре квадратных километра каждый, которые называли у нас кварталами. Так начинался город Ангарск. Строительство велось одновременно во всех пятидесяти двух кварталах. Строили Ангарск, во всяком случае на первых порах, исключительно зэки. Зэками были и десятники, и бригадиры, и мастера.

Сначала нам предстояло вырубить вековую тайгу, расчищая место для будущих построек. Деревья стояли высокие, толстые. Норма была восемь кубометров древесины на человека, независимо — мужчина ты или женщина. Мужчины, естественно, управлялись раньше нас и, бывало, что конвой уводил их в лагерь сразу после обеда. Мы же возились долго. Труд этот был явно не женским. Тем же, кто не выполнял норму, урезали паек. К ночи мы кое-как доползали до лагеря, и многие из нас были уже в таком состоянии, что и есть не могли. Поэтому женщины слабели очень быстро.

Мне повезло, меня держали на лесоповале недолго. Как-то вечером вызвали к начальнику лагеря, и он передал мне четыре или пять книг проектов и смет на пятьдесят второй квартал. Я стала как бы прорабом, меня зачислили в группу АТП* и выдали спецовку — фуфайку и валенки. И уже на второй день я вела разбивку зданий на своем квартале будущего города Ангарска. У меня на объекте было запланировано шесть жилых зданий, техникум и хлебопекарня.

Под моим началом было шестнадцать бригад, причем бригады были строго разграничены по половому признаку: мужчины — кладчики и плотники, женщины — на приготовлении растворов и на подсобных работах. Нормы, как и на лесоповале, почти невыполнимые, особенно для женщин.

Но, колдуя с нарядами, мне удавалось вывести средний процент выполнения заданий таким,

* АТП — Административно-техническое производство, одно из основных подразделений исправительных лагерей, строивших крупные промышленные объекты.

чтобы свою пайку получал каждый. Вот за это и устряпали эти разбойники мне такую кличку — Мамочка. Впрочем, я не обижалась, ведь я и на

самом деле была матерью двоих сыновей, которые остались где-то далеко за пределами «моего» лагеря и о которых у меня постоянно болело сердце.

САШКА-ЦЫГАН

Когда закончили кладку фундаментов и начали возводить стены, потребовались плотники. Я написала рапорт, что мне они нужны. Через пару дней меня вызвали к начальнику лагеря, и он сказал, что уже завтра мне дадут на стройку бригаду в составе пятидесяти трех человек и что бригадир у них Сашка-Цыган.

Назавтра, действительно, привели эту бригаду. Да, еще один штрих: когда начальник лагеря передавал мне список этой бригады, он сказал: «Это все по статье пятьдесят девятой пункт три, то есть за убийство, поэтому топоры им не давай». Я удивилась: а что же давать плотникам, если не топоры?!

На пятьдесят втором квартале была небольшая такая «загорожа»* — моя конторка. Когда нас приводили из лагеря на стройку, я сразу шла туда. Там уже собирались все бригадиры, и я выдавала им задания на день. Тогда под моим началом работало пятнадцать бригад по сорок человек в каждой. Шестнадцатой бригадой на моем квартале становилась бригада плотников. В первый же день с утра я приготовила наряд-задание и для нее. Когда все бригадиры ушли, подошел ко мне Сашка-Цыган. Я отдала ему наряд-задание на день, рассказала, где и что делать, где брать инструмент и материалы. Сказала, что в одиннадцать часов приду к ним проверить работу.

Было около одиннадцати, когда я пришла в бригаду. То, что я там застала, меня так поразило! Я была в шоке, не знала, что сказать и что делать. Вся бригада, все пятьдесят три человека лежали кто где в самых экзотических позах. И, естественно, абсолютно ничего не было сделано.

Я ничего не сказала и ушла, ведь я их боялась. Мне надо было понять, что стряслось? Как вести себя с ними в дальнейшем? И что же мне делать? Был у меня такой Вася на побегушках. Послала его выяснить на складе: получил ли Сашка-Цыган

инструменты и материалы. Вернувшись, Вася сообщил, что инструмент плотники получили, а материалы — нет.

Так, сказала я сама себе, значит, вооружились, посмотрим, что будет завтра.

Назавтра Сашка как ни в чем ни бывало получает от меня наряд-задание. Но когда в одиннадцать я пришла к ним, то увидела ту же картину: ничего не сделано и все лежат. Не говоря ни слова, я ушла. А что им скажешь, этим убийцам с топорами, да еще и на объекте?!

На третий день «работы» бригады то же самое. Когда в четвертый раз Сашка, как обычно, пришел за нарядом, я у него спросила:

— Саша, скажи мне, в чем дело? Что вас не устраивает?

— Мы хотим, — отвечает, — чтобы ты на нас рапорт написала начальнику лагеря.

Но я ведь хочу жить! Я хочу вернуться к моим деткам!

— Саша, я не буду писать на вас рапорт. Я помогу вам, если это в моих силах, но рапорта писать не буду.

— Напишешь! — заорал он и вышел из конторки.

— Нет! — кричала я ему вслед. — Нет!

На этом мы и расстались. А на следующий день все повторилось в той же последовательности: утром Сашка, как обычно, взял у меня наряд-задание, в одиннадцать я, как обычно, делала обход, бригада Сашки-Цыгана, как обычно, «красиво» лежала, и я, как обычно, молча ушла.

Так прошла неделя. Что делать? Если я не закрою этим дуракам наряды, причем не менее чем на сто пятьдесят три процента, они не получат свою лагерную пайку хлеба. Что тогда будет со мной? И я начала искать, заново внимательно изучая чертежи и сметы. Сметы были составлены по шаблону, и я нашла в них немало расхождений

* У мамы были ясно выраженные лингвистические способности, она родилась на Украине и практически всю жизнь жила там, любила украинский язык, хорошо им владела и с удовольствием вставляла в разговор украинские слова и «присловья».

и неувязок: какие-то объемы были завышены, а другие явно занижены, были и вообще пропущенные. На заниженные и пропущенные я писала соответствующие рапорта с обоснованием, а все завышенные брала на учет, ибо это был мой резерв, моя заначка*.

В общей сложности бригада плотников Сашки-Цыгана отлежала у меня на объекте две недели. Но на фоне других пятнадцати бригад и с учетом всех моих заначек я смогла-таки закрыть наряды на все шестнадцать бригад точно на установленные сто пятьдесят три процента.

Настал день, когда я должна была нести наряды начальнику всей стройки на контроль и на подпись. Начальником был сосланный немец, вольный. К этому времени у нас с ним уже установились доверительные отношения, и мои наряды он подписывал, почти не читая. Сашка-Цыган сопровождал меня до самой конторы и ждал, пока я выйду. Когда я вышла, он прямо вырвал у меня из рук наряды и стал лихорадочно их листать. Увидев выполнение на сто пятьдесят три процента и подпись начальника, от неожиданности сел. Я тоже села рядом. Долго мы молчали, потом он спросил: «Ну, ты завтра придешь?» — «Конечно», — говорю.

На следующий день, как всегда, в одиннадцать, я пришла на объект бригады плотников. Работа кипела: лежала большая стопа уже готовых «конвертов» и стремянок, подготовлены стойки и настил на подмости**. Нервы мои не выдержали, и я расплакалась. А Сашка берет меня за руку и куда-то тащит. Я вырываюсь, а он говорит: «Да ты не бойся! Мы все приглашаем тебя покушать».

ЮЗЕФ

(часть первая)

В самом начале 1945 года (или в конце срок четвертого) мама получила направление на работу в КЭЧ гарнизона города Черновцы***, а я временно оставался в Днепропетровске у своего деда, маминого отца. Уезжала мама одна, а когда где-то в июле или в августе того же 1945 года дед привез меня к маме в Черновцы, у нее

В фундаментной траншее горел костерок. А на нем жаровня с картошкой. И еще рыба! Каким удалось достать эти продукты, я не знаю, ведь ээки всегда жили впроголодь. Я сама жила с постоянным чувством голода. Меня пригласили разделить с ними трапезу. Никогда — ни до, ни после — я не ела ничего вкуснее.

С тех пор у меня с этой бригадой была дружба. Меня никто никогда не обидел и даже слова плохого при мне не сказал. А начальство, увидев, что бригада Сашки-Цыгана прекрасно работает, перевело ее через два месяца к другому прорабу, к мужчине. Но он не смог с ними договориться и сам вернул мне эту бригаду. Спрашиваю Сашку: как вам это удалось. Отвечает: «А мы с ним поговорили как мужчина с мужчиной».

Прошло еще какое-то время, и вот разнесся слух, что меня в связи с делом Юзефа отправляют на этап. К концу дня Сашка пришел ко мне в конторку и сказал, чтобы я завтра не приходила на работу. Но как я это сделаю?

— Как хочешь, но не приходи!

Что делать? Я сказалась больной. После тюрьмы да лагеря я была худой, страшной, и мне поверили. А вечером я узнала, что произошло в зоне. Эта моя бригада, этот Сашка-Цыган поставили начальству лагеря ультиматум: если Ремизовскую отправят на этап, они устроят дебош в зоне. Начальство не уступило. Тогда они действительно устроили дебош: они сожгли склад с материалами и устроили настоящий погром на объекте.

Но мне это уже не помогло. В ту же ночь меня отправили этапом на Колыму.

жил какой-то совершенно рыжий, бородатый мужчина. Этот мужчина — звали его Юзефом Юзефовичем — очень плохо говорил по-русски и постоянно старался никому не попадать на глаза, как бы прятался. Оказалось, что это мамин муж.

Он был хорошим человеком и, по-видимому, со временем стал бы нам с братом неплохим

* Заначка — скрытая возможность, «хованка», например, спрятанная от жены часть зарплаты и т. п.

** Стремянки, стойки, подмости, настилы, а еще «козлы» и т. п. — вспомогательные деревянные сооружения, используемые при строительстве зданий.

*** Черновцы — центр Черновицкой области на Западной Украине.

ПЕРО

*Есть в детстве самый важный случай:
игрушки маленьким отдашь
и к сентябрю портфель получишь,
а в нем тетрадь и карандаш.*

*Закружит юность, как в тумане,
заманит в шумный хоровод,
а при тебе всегда в кармане
фломастер, ручка и блокнот.*

*Одарит зрелость полной чашей,
но даже в праздник на пикник
на стол обеденный притащит
перо, тетрадь и черновик.*

*А ты вполне резонно спросишь:
— Зачем? Ни славы, ни гроша, —
и чистоту листа отбросишь,
словам мечту карандаша.*

*И проведет тебя на плаху
судьба, как истинный палач,
сорвет последнюю рубаху,
на стыд проверит и на плач,*

*отнимет все, тоской изложет,
загонит в призрачный шалаш
и перед носом вновь положит
перо, бумагу, карандаш...*

Тая НЕМОВА

отчимом. Но судьба распорядилась иначе. После ареста мамы Юзеф Юзефович работал, как проклятый, стараясь заработать побольше денег. В зиму 1948–1949 годов он преподавал в городе Станиславе сразу в трех средних школах и в музыкальном училище. В этом последнем он вел курс итальянского языка, а в школах — английский, немецкий и французский.

Вряд ли ему удалось так уж много скопить денег, тем не менее в начале лета 1949 года он, взяв минимум вещей, уехал к маме. Куда, я не знал.

Рассказывает мама:

Юзеф вошел в мою жизнь сам и в то же время не без моей помощи. Этот человек оставил в моей душе след света, человечности, добра и удивительного такта. Жив ли он еще? Если нет, то я хотела бы знать, где он похоронен, чтобы принести цветы на его могилу. Он открыл мне мир идеалов. Он был как-то особенно чист, вежлив и очень высокообразован. Ни до, ни после мне не приходилось встречать людей такого высокого интеллекта, такой воспитанности и вместе с тем поразительной простоты общения. Мне и теперь, по прошествии почти пятидесяти лет, хочется сказать спасибо Судьбе за то, что приоткрыла завесу и показала мне мир глазами человека интеллигентного, образованного и воспитанного.

В сорок пятом я работала в КЭЧ Черновицкого гарнизона и была куратором строительства военного городка в Черновцах. В то время на территории этого городка содержали интернированных, привезенных из-за границы. Шел всего второй месяц после окончания войны.

Бывая ежедневно по делам службы в военном городке, я невольно обратила внимание на рыжебородого мужчину с голубыми глазами. Меня поразило его сходство с образом Иисуса Христа. Он, по-видимому, заметив мое внимание к нему, а может быть, просто потому, что я была единственной женщиной в этом мире мужчин, попытался заговорить со мной. Не помню, со второго или с третьего раза мы разговорились, причем говорили по-немецки. Мне всегда нравился этот язык, и я его неплохо знала. Меня поразило его прекрасный берлинский выговор.

Он сказал, что зовут его Иосиф-Сеп Морис, что он еврей, что родился в тысяча девятьсот десятом году и что по профессии он режиссер



Мозгия



*И жизнь не хочет знать о том,
Что капитан лежит в твиндеке...*

В. Варно

*Капитан лежит в твиндеке,
Где трава — что ложь — густа.
Ходят кругом три калеки,
Ни могилы, ни креста.*

*Ищут правды человеки.
Справа, слева чудный вид.
Капитан лежит в твиндеке.
В изголовье смерть стоит.*

*«Где-то здесь», — твердят калеки.
Сели с водкой у куста.
Капитан лежит в твиндеке,
И черствы, как хлеб, уста.*

*И смешались человеки,
И неведомо для них:
Тот, кто в струганном твиндеке,
Поминает тех троих.*

Владимир НЕЧАЕВ

и киносценарист. Все, что он рассказывал мне о себе, оказалось правдой, кроме имени и национальности, о чем я довольно скоро узнала от него же.

Я стала помогать ему выходить из лагеря в город, где мы гуляли в парке, и он много рассказывал о себе. Оказывается, он еще раньше попал к нашим в плен, но ему удалось бежать. Его снова поймали, и ему ничего другого не оставалось, как скрыть и свое подлинное имя, и свою национальность.

Юзеф всегда был вежлив и тактичен, что я, естественно, сразу отметила, так как, постоянно работая среди военных, привыкла совсем к другому обращению.

Вскоре мы узнали, что весь их лагерь вот-вот отправят куда-то в Сибирь на поселение. Нам очень не хотелось расставаться, но день разлуки неумолимо приближался. Последние дни при встречах мы больше грустно молчали.

И вот пришел этот день. Интернированных в лагере было около двух тысяч человек. Всю эту массу людей вывели из городка и повели на железнодорожную станцию, где уже стоял товарный состав. Издали наблюдая, я видела, как Юзеф влез в товарный вагон, подошел к зарешеченному окошку и помахал мне. Подойти ближе я не могла — там было оцепление. Еле сдерживая слезы, я слегка махнула ему рукой и ушла.

Было как раз обеденное время. Дома я нехотя пообедала и около двух часов дня вновь отправилась на работу в военный городок. Выйдя из ворот, я увидела Юзефа, который шел мне навстречу. Я не поверила своим глазам. Боже мой! Этот рыжий Иосиф идет ко мне. Но ведь он был в вагоне под охраной!

— Господи, Юзеф, а как же поезд? Как ты вышел оттуда?

— Я не хочу с ними ехать. Я пришел к тебе. Примешь?

— Конечно! Пошли домой.

Это был, конечно, безумный риск. Но я не могла поступить иначе. Юзеф остался у меня. Без документов и почти без знания русского языка. Через пару дней я узнала, что на окраине Черновцов есть еще один лагерь, в котором содержатся те, кто сам добровольно перешел на нашу сторону. Каким образом им удавалось убедить наших в своей лояльности, я и сейчас не пойму.

Мы подошли с Юзефом к этому лагерю, он помахал мне рукой и пошел к проходной. Его беспрепятственно пропустили. Видимо, там было заведено отпускать репатриантов в город, и Юзефа приняли за одного из своих. Через день, когда я подошла к лагерю, Юзеф сказал мне, что им, репатриантам, выдают справки типа вида на жительство, после чего выпускают насовсем. Он тоже записался на получение такой справки под именем Иосифа Иосифовича Мориса, еврея из Черновцов. А еще через день его выпустили с этой справкой, и он пришел ко мне. Вскоре по этой справке ему выдали паспорт, а еще через месяц мы расписались.

С Юзефом мы прожили всего три года — больше не дали. Будь прокляты коммунисты и большевики во веки веков! Ведь они обрекли на страдания сорок два миллиона заключенных. У нас в Ужгороде был огромный одиннадцатиламповый приемник фирмы «Телефункен» (по тем временам чудо техники), и я сама слышала эту сводку по какой-то волне в начале августа сорок восьмого года.

В Китою Юзеф приехал, когда я уже работала мастером на пятьдесят втором квартале. Он быстро нашел меня, наш ОЛП был недалеко от станции Китою. Юзеф приходил с утра, к разводу, и сопровождал наш этап до самой стройки. А через несколько дней ему удалось найти охранника, который согласился за деньги и обещание не выдавать его в случае чего пропускать Юзефа на территорию нашего строительства. Мы наконец-то могли, спрятавшись в землянке, о которой я до того и не знала, какое-то время побыть вместе, поговорить, поверить друг другу наши беды, просто пожалеть друг друга.

Так продолжалось несколько дней. И пропущавший Юзефа конвой, и заключенные — все болели за нас и всячески укрывали от посторонних глаз, от тех, кто нес вахту особенно рьяно. Для меня эти свидания были и теплом, и светом. Я жила ими и ждала с невыразимым нетерпением.

Но вдруг Юзеф пропал. День нет, второй. Ни в зону не приходит, ни по утрам к разводу. Потом мне передали, что он арестован. Какая-то падла донесла, что на стройке посторонний, и его взяли. Сделали обыск на квартире, где он поселился, и обнаружили тетради, исписанные непонятно на каком языке. Ясно — шпион! Потребовали, чтобы он расшифровал. Это оказались стихи,

написанные по-немецки, но не буквами, а стенографически. Все они были посвящены мне. Как и положено в любовной лирике, в них воспевались моя красота и мои достоинства. Следовательно, который вел дело, заинтересовался, что это за королева красоты в ОЛП, о которой он ничего не знает, и захотел увидеть ее сам. Когда меня привели к нему, он увидел невысокую, исхудавшую женщину, отнюдь не блиставшую какой-то особенной красотой. В насмешливой форме он высказал мне свое разочарование и удивление тем, что именно мне посвящены столь эмоциональные стихи. Я в свою очередь возмутилась: «А чего вы ждали?! Чтобы у меня во лбу звезда горела?»

Вместе с Юзефом арестовали и того охранника, что пропускал его в зону. Мы с Юзефом не раз клятвенно обещали ему, что не выдадим его, даже если нас будут пытать, будем утверждать, что Юзеф самостоятельно проникнул на территорию стройки.

После ареста Юзефа оба мы на допросах отрицали причастность кого-либо из охраны к факту проникновения его в зону. Но следователь переиграл нас всех. Он убедил охранника, что мы его выдали и ему лучше сознаться, так как признание смягчит наказание. Охранник поверил следователю и признался.

Допрашивая после этого меня, следователь, раздраженный моим твердым отказом утопить охранника, закричал:

— Да он сам во всем признался! — и устроил нам очную ставку.

Когда ввели охранника, еще до того, как он сел, я, чтобы опередить следователя, скороговоркой сказала ему:

— Как ты мог признаться? Я же тебе говорила, что никогда не выдам.

Конвоир был крайне потрясен и показал на следователя:

— Так вот он сказал ...

— Он же брехун! — закричала я.

Тут вмешался следователь и велел увести охранника. Когда его увели, последовал приговор:

— Вот за то, что ты обозвала меня брехуном, я тебя на этап отправлю, а твоему Юзефу дам год за просто так.

Следствие по делу Юзефа и охранника длилось целых восемь месяцев. В конце концов Юзефу дали год, а охраннику — два.

Мужской лагерь, куда заключили Юзефа, был недалеко от нашего ОЛП, и до того, как меня отпустили на этап, нам удалось в последний раз

повидаться. Больше я его никогда не видела, а письма от него получала до пятидесяти третьего года, но сама не отвечала, боясь ему навредить.

ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО

По обоюдному согласию с Юзефом мы решили, помимо гражданской регистрации нашего брака, обвенчаться в церкви, скрепить наш союз перед Богом. В Черновцах сделать это мы не успели и осуществили своей замысел в Ужгороде.

В то время в Ужгороде было семь действующих церквей различных конфессий. Мы выбрали ту, что стояла в самом центре города, и договорились с настоятелем о совершении обряда нашего бракосочетания. Тогда все это не только не поощрялось, но, напротив, преследовалось. Поэтому обряд мы решили совершить тайно. Купили кольца и договорились со священником о дате.

В назначенный день вечером, когда стемнело, мы вошли в храм. В храме, кроме нас, настоятеля и двух свидетелей, никого не было. Горели свечи, везде полумрак, тишина, и только голос настоятеля, говорившего нам о наших обязанностях друг перед другом. Потом мы обменялись кольцами и стали мужем и женой перед Богом.

После обряда настоятель пригласил нас к себе на ужин. Очевидно, мы для него в то время тоже были светом в окне. За ужином разговор шел на немецком языке. Я знала, что настоятель по национальности не венгр, но почему же у него венгерское имя? Я спросила его об этом.

— Ja, das ist eine ungarische der Name wal ich bin zumun, — ответил он.

Прошло всего полтора года, и злые силы сломали мою семью — я в тюрьме. Но с обручальным кольцом я не расстаюсь. Пока шли

допросы, никто на него не покушался. Но после того как мне предъявили обвинение, ситуация резко изменилась.

Как-то заходит в камеру надзирательница и без лишних слов — хватя меня за руку и попыталась снять кольцо. Я вырвала руку и сунула кольцо в рот. Надзирательница была крупной, сытой бабой. Но сколько она ни катала меня по полу, сколько ни била, рта я не раскрыла. Умаявшись со мною, она ушла.

Я понимала, что это только первая попытка отобрать у меня золотое кольцо, и с тех пор все мои помыслы были направлены на то, чтобы сберечь, спрятать кольцо. Я зашивала его в подкладку пальто, засовывала под подошву ботинка. Но ведь эти бандюги были большими специалистами по части шмона*. Каждый раз мне удавалось в последний момент выхватить кольцо и засунуть его в рот. Потом я догадалась вдавливать кольцо в кусочек хлеба, который небрежно так, открыто лежал на столе.

Мне повезло сохранить свое кольцо в Ужгородской тюрьме. На этапе это сделать было легче, хотя бы потому, что о его существовании никто не знал. Да и шмоны были менее тщательные. Так я пронесла свое обручальное кольцо через всю страну от Ужгорода до Китая.

Когда в лагерь ко мне приехал Юзеф, я, конечно веря ему и боясь все же потерять кольцо, на первом же свидании передала его ему. О чем горько сожалею и по сию пору. Не золота ради, а памяти для.

ТРИНАДЦАТАЯ ЗОНА

Наш этап пришел из Иркутска в порт Ванино утром. Этап был большой — более трех тысяч человек, почти поровну мужчин и женщин.

Выгрузили нас из вагонов, окружили охраной с собаками и продержали так целых полдня. Часа в два дня к нашему строю подъехала машина с

военными, и нас, женщин, повели к новым, недавно выстроенным баракам. Еще при высадке из поезда прошел слух, что нас поведут в тринадцатую зону. Я человек суеверный, многого боюсь, особенно числа тринадцать — и вот надо же, тринадцатая зона!

* Шмон — обыск, вначале на сленге уголовников, а затем и в языке всей России.

*СТОЛИЦА РОДИНЫ.
ПУТЕШЕСТВИЕ АДАМА*

*Этот огромный город застанет тебя
врасплох,
как нагого Адама — враждебный мир.
Если ты медлишь — в пятки вырастает
чертополох,
если спешишь — стираешь ступни до дыр.*

*Этот огромный город — лавина очередей,
цепь бесконечных пробок и ад метро,
его зараженный воздух лучшей из всех
затей
считает сверлить и дырять
твое нутро.*

*Отдал бы все, чтоб только дожить
до того угла,
вернуться в свой тесный рай,
отдохнуть от ран!
Но паршивый огрызок познания добра
и зла
жжёт ладонь и, как гиря, оттягивает
карман,*

*не давая вернуться: ты слишком много
спросил,
и нет билетов домой, по крайней мере,
пока
не найдешь все ответы и не упадешь
без сил,
поймав закатное солнце во тьму зрачка.*

Алиса САИТБАТАЛОВА

В зоне было десять новых барakov. Расселили нас довольно быстро, запуская в нее так, как мы шли по этапу: шеренгами по пять человек.

Один из десяти барakov уже внутри нашей зоны был огорожен колючей проволокой высотой до двух метров с козырьком. В этот барак поместили «сук» — это те, кто хотя бы раз предал воровской закон: никогда и нигде не работать. Их там набрался полный барак. На входе поставили часового. Иногда «сук» выпускали в общую зону, где тут же начинались разборки с ворами в законе.

Я всегда старалась быть в стороне и от тех и от других и с крайним удивлением смотрела на их поступки. Мне и сейчас непонятен тот образ жизни, который они для себя выбрали, ведь это — женщины, причем в том возрасте, когда женщина не только женщина, но еще и мать. Многие из них имели детей, и это еще более меня поражало: взрослые женщины и заняты какими-то странными делами. Постоянно кто-то что-то у кого-то крадет, потом беготня — и тех и других тащат к оперу. Бесконечные, жесточайшие, вплоть до убийства, разборки. Мне они всегда казались дурочками-психопатками.

Отношения у них между собой были очень жестокими. Один случай я никогда не забуду. Была там одна блатная «сука», вся исколотая — наковки у нее были и на руках, и на ногах, и на самых интимных местах — всюду (я это отказывалась понимать — зачем?). Так вот эта «сука», довольно молодая особа, чем-то допекла своих товарок по блату, и те решили ей отомстить. Мечь была очень жестокая. Враги ее нашли кусок стекла, растерли его в порошок и засыпали ей в глаза. После этой экзекуции она лежала как пласт. Что с ней стало потом, не знаю, потому что именно в это время началась известная на весь ГУЛАГ* война воров и «сук». Это было настоящее побоище. Процентом, наверное, девяносто женщин нашей зоны дрались кто с кем, казалось, что каждая дралась сама за себя. Что они делили?

Оставшиеся вне драки несколько человек забились в барак № 8, позабিরались на самые верхние нары и тряслись там от страха.

Дерущихся охранники разгоняли автоматными очередями и отнюдь не всегда вверх: были и

* ГУЛАГ — Главное управление лагерей Наркомата внутренних дел.

раненые и убитые. Этот бунт в тринадцатой зоне прокатился громом по всей Ванинской бухте, а зон там было немало. А совсем недавно я прочитала об этих же событиях у писателя Варлама Шаламова*, рассказ так и называется «Сучья» война».

Когда побоище затихло, нас, кто был в восьмом бараке, построили, вывели из ворот и примкнули к уже стоявшей там колонне эзков. Затем вся эта колонна под охраной с собаками проследовала на пристань. Здесь нас, как скот, загнали в трюмы парохода «Дзержинский» — будь проклято это имя! — и повезли на Колыму. А мы в трюмах, по выражению Н. А. Некрасова, «стонали» — «этот стон у нас песней зовется»:

*Я помню тот Ванинский порт
И вид пароходов угрюмый,
Как нас загоняли на борт,
В холодные мрачные трюмы.*

ТРИ ВСТРЕЧИ

Болит, очень болит правая почка. И низ живота тоже. Я лежу на земляном полу в огромном помещении бывшего оружейного склада. Народу очень много, и многие лежат прямо на полу, потому что на четырехъярусных нарах мест нет, все занято, сидят впритык.

Я больна, я очень больна.

Все мы — ээки, и здесь в бараке — одни женщины. Наш этап только что пригнали: двадцать четыре километра по кругу от бухты Нагаево до бухты Веселой** мы шли по морозу, а был январь пятьдесят первого года.

Чувствую я себя ужасно, а кое-что в своем теле вообще не чувствую, особенно ноги. В бухте Нагаево у меня украли валенки, и я шла эти двад-

*От качки шумели зэка,
Обнявшись, как родные братья,
И только порой с языка
Слетали глухие проклятья.*

«Стоял впереди Магадан — столица Колымского края». Это было осенью тысяча девятьсот пятидесятого года.

От автора:

Любопытно, что ровно через шесть лет после окончания института, тем же пароходом плыл на Колыму осенью тысяча девятьсот пятьдесят шестого года и я, сын зэчки, вместе с комсомольцами первого магаданского призыва. Причем третьим классом, а стало быть, как и моя мама, тоже в трюме, хотя и был вольным.

цать четыре километра в ботинках сорок третьего размера. Они болтались у меня на ногах, как не знаю что, ведь они были на целых семь номеров больше моей ноги. Шла, как на колодках. Под конец ног совсем не чувствовала. Но все же дошла.

Когда нас ввели в это огромное переполненное помещение, я так и свалилась у входа. Тут и лежу. Ног у меня совсем нет, и жутко болит правая почка. И еще низ живота — тоже***.

Но погнубить мне не дали — нашлись-таки хорошие души. Посреди барака стояла огромная железная печь, так называемая времянка. Две женщины греют на этой времянке кирпичи, заворачивают их в телогрейку и прикладывают к моим ногам. На дворе жуткий мороз, времянка же

* Шаламов Варлам Тихонович (1907–1982) — русский писатель, проведший семнадцать лет в лагерях ГУЛАГа и оразивший их историю и быт в своих произведениях (см., например, «Колымские рассказы»).

** Город Магадан расположен между двумя бухтами Охотского моря — Нагаева и Веселой. Бухта Нагаева — фактически начало города, а бухта Веселая «вошла в оборот» несколько позже, именно здесь разружались пароходы со взрывчаткой для геологических работ и отсюда же ходили катера в поселок Ола, где начинал свою работу на Колыме я, автор.

*** Любопытно привести цитату из воспоминаний Е. Н. Ковальской «Женская каторга», относящихся к 1881 году: «Нас ввели в нетопленные камеры, с разбитыми окнами, в которые врывался ветер, нанося снег на нары, пол был покрыт замерзшей грязью. Мест на нарах не хватало для всех, и некоторым пришлось сесть на ледяной пол». Прошло семьдесят лет, прошли революции и годы, а отношение к гражданам собственной страны не изменилось, ибо оно определяется не высокими законами Карла Маркса, а банальной борьбой за власть.

раскалена добела, и был случай, когда телогрейка с кирпичом на моих ногах загорелась.

Но все же эти две женщины выходили меня, дай бог им здоровья, если они еще живы. Сначала мне казалось, что их обеих я вижу впервые. Я не заметила, когда они присоединились к нашему этапу. Но, когда мне стало полегче, одну из них я узнала. И немудрено, ведь мы с ней были знакомы еще с Ванинской пересылки, со злополучной тринадцатой зоны.

В этой зоне в бухте Ванино я пробыла почти месяц. Начальник лагеря назначил меня помощником по быту зоны, руководствуясь, по-видимому, моим прорабским прошлым и тихим поведением. На мои плечи легла целая куча всяких хозяйственных дел по зоне. Многим приходилось заниматься, набирая для работ зэчек. Хорошо, если картошку чистить. А если веники в лесу заготавливать?

Вот как раз на заготовке веников и случилось мое знакомство с Ниной. Она — блатная, воровка и все прочее, но внешне довольно симпатичная женщина. И хоть я — помощник по быту зоны, разница между нами в глазах начальства была огромной: она — всего лишь уголовница, а я — политическая, ей верит начальство, а мне — нет.

Приходит как-то Нина ко мне в барак.

— Ремизовская, ты будешь брать бригаду за вениками в тайгу?

— Я.

— Возьми меня.

— Хорошо. А из какого ты барака?

— Из десятого.

Бог ты мой! Но ведь там воры-суки. Барак внутри зоны дополнительно окружен двойной изгородью из колючей проволоки. Сообщение сидящих в десятом бараке с общей зоной только в сопровождении конвоя. Как же она оказалась здесь без сопровождения? И настойчиво повторяет:

— Возьми меня в бригаду, Ремизовская. Не забудь!

Что делать? Как помощнику по быту зоны мне наверняка попадет. Но в то же время я знаю, что такое воры-суки. Их я боюсь больше, чем начальства, и даже больше, чем воров в законе. И я соглашаюсь.

На следующий день часа в четыре дня наша бригада в сопровождении конвоя выходит за зону. Нас, зэчек, человек двадцать. Прошли мы в сторону ближайшей сопки километра три или четыре и начали ломать лозу для веников. Довольно быстро наломали по хорошей вязанке, и конвой стал собирать нас в кучу. Перед тем как возвращаться в зону, пересчитали. Как чуяло мое сердце — одной нет. И именно этой Нины. Конвой сразу ко мне:

— Это ты, Ремизовская, виновата! Ты настояла, чтобы эту «суку» из десятого барака взять в бригаду. Теперь держись!

Когда вернулись в зону, меня сразу же отправили к оперу, а там — наручники и допрос.

Это было мое первое знакомство с наручниками такого типа. Они, оказывается, так устроены, что когда их заклацнут*, надо сидеть тихо и руками не шевелить. Я этого еще не знала и, сидя перед опером**, понемногу шевелила руками, старясь найти более удобное положение. А наручники от этих движений все туже и туже стягивали мои руки. А тут еще и опер со своим допросом. И когда я наконец поняла, что это за наручники, руки мои опухли и налились кровью, сначала сильно покраснели. А потом начали синеть. Была дикая боль.

Я сидела и плакала, а опер, стуча рукояткой нагана по столу, без конца повторял одни и те же вопросы: когда я сговорила со сбежавшей «сукой» и куда она подалась? Боже мой, ни с кем я не сговаривалась, и откуда мне знать, куда подалась эта глупая Нина. Я была уверена, что бежать из зоны глупо: все равно поймают. Куда тут убежишь в этой стране, где всюду лагерь? Только лишний срок намотают.

Хотя допрос, в общем-то, был недолгим, в тюрьме меня допрашивали гораздо дольше. Но руки мои погибали. Вскоре я уже вообще не могла отвечать на вопросы и только плакала от боли. Когда опер снял с меня наручники, мне было так плохо, что я тут же упала на пол. Но про Нину я так оперу ничего и не сказала.

И вот уже на Колыме эта новая встреча с нею. Значит, ее поймали и наверняка добавили срок, если там было куда его добавлять. Мы с ней на эту тему не говорили. Да и вообще мы практически не общались. Она сделала все, что могла,

* Украинизм, по-русски «защелкнут».

** Опер — оперативный уполномоченный.

Он поражен сходством и долго, с удивлением рассматривает набросок. А я молчу и рассматриваю его. Этот опер, в отличие от других, пользуется у нас в ОЛТП № 5 вполне заслуженным уважением среди зэчек, потому что не подлый и зряшно не жестокий, хотя закон и «блюдет».

— Ну, хорошо, — оторвался он от наброска. — Меня ты видишь — я перед тобой. А если я прикажу нарисовать то, что ты не видишь, тогда как?

— Если раньше видела, то нарисую. А если никогда не видела, то и сфантазировать могу.

— Нарисуй розу!

Это тот предмет, который на Колыме увидеть негде. Я рисую.

— А что? Похоже, — заключает он. — Ну так вот: надо на материи нарисовать розы, как на плакате. Сможешь?

— Смогу, но нужны и материя, и краски, и кисточки, — в столярке ничего подходящего нет.

— Будут, жди.

Прошло дней пять или семь, и вновь на всю зону раздаётся: «Ремизовская, к оперу!» Прихожу.

— Садись, — сразу же приглашает он.

Рядом с ним стоит молодая женщина, моих лет.

— Вот это — моя жена, она сама расскажет, что надо сделать, — и вышел.

Мы познакомились: она назвала себя, я — тоже. Весь наш разговор проходил в дружеском тоне, никакого пренебрежения к себе, как к зэчке, я не почувствовала. Она рассказала, что у нее есть хорошее платье из однотонной ткани и ей хотелось бы разрисовать его розами. Расспросив о материале и фасоне, я тут же набросала рисунок. Ей понравился мой вариант, и на этом мы разошлись.

Я уже упоминала столярный цех. Дело в том, что, кроме того, что я была прорабом зоны, у меня еще в подчинении находилась столярка, где работали в основном плотники из соседнего ОЛТП № 3 (мужской лагерь, тоже практически в центре Магадана*). Женщины из нашего лагеря тоже работали в столярке на подсобных работах. Так вот в этой столярке у меня была небольшая конторка. Именно сюда через пару дней принесли

краски, олифу и кисти. А жена опера (забыла, как ее звали) принесла свое платье.

Платье было изумительно красивое! Я ведь женщина, и мне так давно не доводилось видеть ни одной красивой женской вещи — всё робы, телогрейки да валенки. Платье мне очень понравилось. Сшито оно было из темно-лилового бархата. Не платье, а мечта!

За работу я принялась в тот же вечер. Никто не освобождал меня от основных моих прорабских обязанностей, и работать над украшением наряда жены опера я могла только поздними вечерами. По художественной работе я очень соскучилась и потому получала истинное удовольствие от этой работы. Кстати, нелишне отметить, что жена опера вместе с платьем принесла мне покушать, что для зэчки тоже имело немаловажное значение.

Принесенной еды было довольно много, и я поделилась ею с одною своей знакомой по лагерю, тоже, естественно, зэчкой, которая работала бухгалтером. По работе мы с ней довольно часто встречались. Не то чтобы дружили, но были в хороших отношениях.

Через несколько дней платье было готово: по его подолу шел веночек из роз, а одна ярко-красная роза аела у левого плеча, как бы символизируя любящее женское сердце. Смотрелось все это чудесно. Не менее, чем мне самой, понравилось это произведение и жене опера. Она в восторге забрала платье и дала мне за работу целых десять рублей. А за это я ее благодарила, наверное, еще более горячо, чем она меня за платье, ведь у нас в зоне был ларек, где при наличии денег можно было купить что-нибудь съестное. Есть же хотелось постоянно, ибо кормежка в лагерной столовке была очень скудная.

Не прошло и недели после этого, как вдруг умирает Сталин. Вечером я тихонько сижу в своей конторке и пишу наряды. Пишу и слушаю радио. Неожиданно в репродукторе послышался сильный треск, и он замолчал. Сам факт смерти Сталина ничего не менял в моей судьбе, потому что любой советский правитель политических не любил. Так что мне, что этот, что тот. Только молишь Бога, чтобы еще хуже не стало.

* На мой специальный запрос мама ответила, что непосредственно в центре Магадана было два лагеря, фактически в черте города, но города как такового, по ее мнению, тогда еще практически не было — «но города тогда не было — было много барачков, где местились охрана и начальство».

А наутро за мной пришел конвой:

— Ремизовская, к оперу!

Собираюсь и иду. Конвой привел меня и сдал, как положено. Опер тот же, жене которого я на днях украшала платье.

— Садись, Ремизовская.

Благодарю и сажусь. Опер протягивает мне лист бумаги:

— На, прочитай.

Я прочла и оцепенела. Это бухгалтер, с которой я иногда при возможности делилась куском хлеба, написала на меня донос: будто бы это именно я, когда передавали сообщение о смерти Сталина, нарочно выключила радио в зоне, чтобы заключенные не знали, какое горе постигло нашу страну. От неожиданности я просто оторопела, я не могла понять, что все это значит.

Но опер вернул меня к реальной жизни и объяснил, что это означает еще двадцать пять лет лагерей к моим десяти.

— Иди, Ремизовская! За час не придумаешь, как объяснить все это, — пеняй на себя. Я тут бессилен — бумага, то есть донос, зарегистрирована.

Вышла я от него на ватных ногах. Иду, ругаюсь и плачу. Ругаюсь потому, что, ну какой же гад — сам в землю лезет и других за собой тянет. И не надо думать, что именно в этом эпизоде со мною он был ни при чем. При чем! Ибо это он создал такое государство, где все за всеми следят и все на всех доносят. Это он, гад, поломал мою жизнь, сделал сиротами моих детей.

Иду к себе в столярку и плачу навзрыд. Что же делать, Господи? Что делать? Как избавиться от напасти?

Навстречу мне идет наш зонавский электрик, тоже зэк, но из ОЛПА № 3. Звали его Сашей — везло мне на это имя в лагере. По долгу службы электрик непосредственно подчинялся прорабу зоны, то есть мне.

— Ты чего плачешь, Ремизовская?

— Меня обвиняют в том, что вчера я выключила радиосеть в зоне, когда передавали известие о смерти Сталина. Мне теперь грозит еще двадцать пять лет лагерей. А я понятия не имею, где она выключается и кто ее выключил.

— Так это же я ее вчера выключил — там замыкание в сети было.

— Саша, милый, идем, ради бога, к оперу, и ты ему сам все это расскажешь.

— Пойдем, Ремизовская.

Пошли мы к оперу, и Саша рассказал ему, как было дело, что было нарушение в сети радиовещания и он вынужден был ее отключить. Тут же отправились к нему в распределительную, чтобы на месте проверить, так ли. Саша сумел убедить всех, что все так и было.

Господи, думала я, от скольких же людей зависит моя маленькая незаметная жизнь! И Сталин, и опер, и эта бухгалтер, и Саша-электрик — каждый мог меня и казнить, и помиловать. Страшно, как же страшно жить в такой стране, где ты сам не хозяин своей собственной жизни!

А с этой женщиной из бухгалтерии я с тех пор никогда не разговаривала и старалась встречаться как можно реже, ведь она была агентом опера в зоне. Он мне раскрыл ее, и теперь я могла предупредить других об этом. За это я ему особенно благодарна, дай Бог ему и сегодня здоровья!

ПОНЕДЕЛЬНИК — ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ

В последний год моего «сидения», в пятьдесят четвертом году, я особенно сильно была загружена прорабской работой. Кроме того что числилась прорабом нашей зоны и отвечала за ремонт лагерных помещений, мне еще поручили ремонт зданий ВОХР* — офицерский жилой фонд. А потом Мансуров поручил мне еще и проектировку некоторых хозяйственных

построек Магаданского подсобного хозяйства, совхоза «Пригородный». Когда проекты были готовы, их тут же без моего участия приняла какая-то комиссия. Но строить по этим проектам поручили опять же мне.

Как-то в начале лета вызывают меня в кабинет подполковника Дубина. Смотря куда поставить ударение! Его фамилию надо было произносить с

* ВОХР — военизированная охрана, осуществляющая охрану лагеря (зоны) и всевозможные полицейские функции (конвоирование, обыски и проч.).

ударением на первом слоге, наподобие известного мичмана Козела. Подполковник Дубин — большой, очень большой человек в лагерной системе города Магадана. Подполковник Дубин — начальник ВОХР города, то есть начальник охраны всех лагерей.

По работе мне уже приходилось с ним встречаться. Да и расположено управление ВОХР рядом с нашим лагерем № 5 — их разделяет всего лишь забор.

Подполковник Дубин сказал, что мне поручается строить коровник где-то в стороне от Веселой*, что уже в понедельник туда направят сто сорок человек солдат и что меня туда и обратно, а это только в один конец двадцать три километра, будет возить на мотоцикле солдат по фамилии Чайка.

Выслушав приказ, а это был именно приказ, я сказала, что в понедельник ровно в восемь часов утра буду на вахте лагеря ожидать мотоцикла. Так и было: в понедельник в восемь утра мы с Чайкой выехали на мотоцикле в район бухты Веселой на новую строительную площадку. Когда мы приехали, солдаты уже были на месте. Подполковник Дубин предупредил меня, чтобы я ни в коем случае не проговорила перед солдатами, что я заключенная, потому что им, вольным, будет оскорбительно выполнять приказы зэчки.

Приехав, я сразу же велела солдатам брать ломы, лопаты, кайла и профилировать дорогу от будущей стройки до основной дороги на Магадан. И тут же из неоструганных досок мне соорудили подобие стола и лавку. Я что-то там подстелила, устроилась и взялась за изучение собственного проекта. Что-то пишу, делаю пометки. Но за разбивку здания не берусь. Дело в том, что я очень суеверная и никогда ничего серьезного в понедельник не начинаю. Ни под каким предлогом.

Так прошло полдня, каждый занят своим делом: солдаты мостят дорогу, а я сижу над проектом. Я так сосредоточилась на своей писанине, что и не заметила, как по трассе к нам подъехала легковая машина и ко мне от трассы поднимается подполковник Дубин. Он был довольно плотен, а до площадки метров пятьсот, не меньше, и все вверх.

Но вот он преодолел подъем и, сопя, весь в мыле, подошел к моему «столу». Я от неожиданности вскочила. Глаза подполковника грозно сверкали, а изо рта вырывались такие звуки, что я от неожиданности ничего не могла понять. Когда дыхание у него успокоилось, я начала понимать, о чем меня спрашивают: почему не сделана разбивка здания, почему солдаты не копают траншею для фундамента, почему сто сорок человек заняты черт-те чем?!

Я что-то мямлю в ответ, но истинную причину не называю. Наконец он не выдерживает и тихим зловещим голосом говорит мне: «Ремизовская, иди в машину!» Господи, хоть бы не в карцер!

Подхожу к машине, сажусь. Что-то будет? Через несколько минут, запыхавшись, подошел подполковник, сел в машину, захлопнул дверцу. Шофер решил, что пора ехать и стал заводить машину. Подполковник его остановил и послал покурить.

Шофер вышел, и подполковник снова стал допытываться, почему я не сделала разбивку здания, почему солдаты устраивают дорогу, без которой можно пока обойтись, почему они не копают траншею под фундамент. Я продолжала увиливать от прямого ответа, объясняла ему, что именно дорога нужна в первую очередь для подвозки материалов. В таком духе мы прошли по кругу раза три, не меньше. Наконец я не выдержала и говорю:

— Но сегодня же понедельник!

Подполковник Дубин был настолько поражен моей наглостью, что, прямо-таки раскрыв рот, уставился на меня. Виданное ли дело, чтобы зэк ослушался начальника, да еще из-за какого-то дурацкого суеверия! А я, осмелев от собственного признания и приняв его молчание чуть ли не за одобрение, стала быстро-быстро объяснять, что по понедельникам я ничего серьезного не предпринимаю. А сегодня как раз понедельник, то есть тяжелый день. Подполковник Дубин некоторое время сидел молча, а потом так задумчиво говорит: «А может, ты, Ремизовская, и права».

Тут уж я разошлась и стала «обосновывать» свое суеверие советским строительным законодательством, которое, слава богу, знала

* Веселая — одна из живописнейших бухт Охотского моря в районе г. Магадана, в послерепрессивное время место строительства дачных домиков и отдыха горожан.

назубок. Ведь согласно законам, производитель работ несет ответственность за построенное здание в течение пятнадцати лет. Как же можно такое важное ответственное дело начинать в понедельник?! А вдруг, например, просядет фундамент и «поведет» здание? Кто виноват? Конечно, прораб, даже если это была ошибка геолога. Пойди потом, докажи. Нет уж, в понедельник ничего путного начинать нельзя. Нам только кажется, что это — суеверие, а на

самом деле — это почти закон, потому что понедельник — день тяжелый.

Подполковник долго молчал и, даже как-то подобрев лицом, выслушал мой монолог.

— Ладно, Ремизовская, иди — за тобой Чайка приедет.

После этого случая подполковник Дубин больше никогда не указывал мне, что и когда надо делать. Лишь спрашивал: «Ну, как там у тебя, Ремизовская?» Я докладывала, как положено.

КАПИТАН ПЕТРОВСКИЙ

Это был удивительный человек: объективный, вежливый, явно не лагерный. Он никогда не выпячивал свое начальственное положение. И с заключенными вел себя на равных. Мне очень повезло в моей лагерной жизни, когда моим прямым начальником стал капитан Петровский. Это был дар судьбы.

Вскоре после того как я начала работать под его началом, он познакомил меня со своей семьей, женой и двумя детками. Жили они совсем рядом, на территории ВОХРа, соседствующего с нашим лагерем. Меня тянуло к ним, в их счастливую семью. Жена Петровского почувствовала это и стала приглашать меня к себе.

В то время я работала мастером на строительстве больницы № 1 в Магадане и ходила без конвоя*. Таких, кто имел право ходить по городу без конвоя на оба ОЛТП — мужской № 3 и женский № 5, было всего человек сто. Из этих ста лишь человек десять инженеры, занятые на строительстве, остальные — домработницы всякого магаданского начальства, которое никак не могло само себя обслужить и нуждалось в рабском труде.

В конце каждого рабочего дня капитан Петровский неизменно говорил мне: «Пошли, Ремизовская, жена ждет». И я всегда с радостью соглашалась, ибо душой оттаивала в его семье. Жена его приветливо встречала меня и, улыбаясь, говорила: «Вот и хорошо, что пришла, — работы у меня воз». Это означало, что она затевает себе и детям новое шитье. Но я не только не роптала.

Наоборот, я была счастлива заниматься домашними делами и хоть на какое-то время забыть про лагерь и про то, что я не человек, а зэчка. Да и угодить хотелось хорошим людям.

Почти каждый день проходил у меня по одному и тому же расписанию: в семь часов утра на площадке лагеря развод, после чего каждый спешил на свой объект. Бригады уводили под конвоем, а инженерный и технический персонал, так сказать, двигался своим ходом. Шагаешь, бывало, по лютому морозу в тонкой юбчонке, в телогрейке и валенках немыслимого размера. Работали до девяти часов вечера. И только после этого можно было на часок-другой пойти к людям, если, конечно, вас приглашали.

Короткие эти часы в семье капитана Петровского не только не утомляли меня, но, напротив, давали мне заряд душевной бодрости на всю ночь и весь следующий день. Да еще каждый раз перед уходом от них жена Петровского заворачивала мне бутерброд, когда с колбасой, когда с салом — что было.

Даже в лагере человек тянется к человеку, тянется к доброте, к свету. Конечно, я понимала, что наши отношения были взаимоприятными и взаимовыгодными. Но главным для меня была не какая-то выгода, а семейное тепло, которого я была лишена столько лет.

В таком вот ритме я и жила все последнее перед своим освобождением из лагеря время. Тридцатого декабря тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года после развода бригад на площадке меня почему-то не выпустили из лагеря.

* Кроме того, мама построила в Магадане шесть пятиэтажных домов и уже после освобождения — здание райкома партии в поселке Ола (здание и сейчас стоит!).



*«Привет, дочурка!» — в трубке голос папы...
Так жду и так боюсь его звонков.
Щенок с кровати прыгнул косолапо,
добрался до ботиночных шнурков*

*и возится... «Ну, что, дочурка, как ты?
Наверное, ты сильно устаешь?» —
«Нормально», — отвечаю. Дальше — факты:
семья, работа. Словом — про жизнь...*

*«Нормально, папа. Ну, бывает всяко...»
А папы — нет. Давно. Он не звонил.
Иду гулять с отцовской собакой,
которую он так и не купил...*

Марина СЕМЧЕНКО

Ни охранник, ни начальник караула не знали почему: приказ — и все. Таких, как я, оказалось всего восемь человек. Ходим мы по линейке (та же площадка) туда-сюда, нервничаем, трясемся. Единственное, что приходит в голову — нас отправляют на этап куда-нибудь по Колымской трассе.

Ужасно! И очень обидно. Во-первых, разгар колымской зимы, и на трассе морозы за сорок, а порой и за пятьдесят. Во-вторых, за все время моего пребывания в различных лагерях этот, последний, своего рода привилегированный — он находился в центре города, недалеко от теперешнего здания Дальстройпроекта и спорткомплекса. В этом лагере содержалась в основном прислуга и обслуга. Да и кормили нас лучше, чем в лагерях, которые были в тайге.

В общем, настроение у нашей восьмерки было самое что ни на есть печальное. Вдруг мы видим, что через вахту входит в зону капитан Петровский и с ним еще несколько человек военных. Я не решаюсь подойти к нему и спросить, в чем дело. Но он сам окликнул меня:

— Ну, Ремизовская... — и похлопал свободной рукой по пачке папок, которую держал под мышкой.

Наша восьмерка насторожилась — ужас этапа прямо обуял нас. Стоим и молча смотрим, как они шагают мимо. Уже пройдя мимо нас, капитан Петровский оглянулся:


— Ремизовская и все остальные, пошли!

Понурившись, мы покорно пошли за ним в наш лагерный клуб. Военные поднялись на сцену клуба, а наша восьмерка и еще несколько человек, которые по каким-то причинам не вышли сегодня на работу, — в зале.

И тут вдруг пронесся слух, что нас восьмерых будут заново судить по старым делам, то есть будут их пересматривать. Первыми вызвали двух женщин, у которых было какое-то общее дело, я уже не помню какое. Суд был скорым, и их тут же освободили.

Потом вызвали женщину, про которую я знала, что она была как-то приближена к оперу, скорее всего, была осведомительницей. Идет слушание ее дела, мы все с напряжением следим за каждым

** Через год ее все же освободили. Но тогда, на первом этапе, никто не мог предполагать, что начала рушиться, казалось бы, созданная на века жесткая система ГУЛАГа.*





сказанным словом. Ей задают вопросы по ее делу, и она довольно толково на них отвечает. И вдруг неожиданно звучит: «А в первый раз вас осудили правильно?» А у нее было двадцать пять лет лагерей, из которых она уже отсидела шесть или семь. Женщина встала и, нервно теребя платок, стала возбужденно доказывать, что осудили ее тогда неправильно. Судьи на сцене ее не перебивали, дали ей полностью высказаться и удалились на совещание. Через некоторое время: «Встать, суд идет!» И результат: не освобождать*.

Следующей была я. Я полностью восприняла только что преподанный нам урок и, когда мне задали тот же вопрос, была начеку:

— Как ты, Ремизовская, считаешь, тебя судили правильно?

— Если бы не была виновата, не судили бы.

В течение всего времени, пока разбиралось мое дело, я стояла как вкопанная. И когда сказали, что я — свободная, от волнения у меня случился

обморок. Первое, что я спросила, придя в себя, это могу ли я сразу уйти из лагеря. Прокурор, который только что выступал по моему делу, говорит: «Можете».

Я встала, сказала «Спасибо!» и, шатаясь, пошла к вахте. Пока дошла, на вахту уже позвонили. Был у нас такой вахтер Кузьменко. Он широко открыл калитку и закричал мне:

— Иди, Ремизовская, нечего тут в лагере околачиваться!

Я вышла и побежала что было сил в Дальстройпроект*. Это был наш дом, там я работала последнее время сметчиком, там у меня были друзья. Вся наша группа, костяк Дальстройпроекта, шестьдесят пять человек эков сидела в большом зале. Когда я вошла в зал, меня наконец отпустило. Я упала на стул и разрыдалась. Все бросились ко мне:

— Ремизовская, что случилось? Ты чего плачешь?

— Я... сво-бод-ная...

РУСЛАНОВА И РОЗНЕР

От автора:

После того как началась перестройка, все мы вдруг узнали, что в лагерях на Колыме отбывали принудительно-трудовую повинность многие деятели нашей культуры — Вадим Козин, Варлам Шаламов, Лидия Русланова**, Георгий Жжённов и еще многие и многие. Естественно, что я неоднократно расспрашивал маму: а не приходилось ли ей встретиться с кем-либо из них?

В конце концов и, надо сказать, нехотя мама рассказала, что в магаданских лагерях ей пришлось общаться с Лидией Андреевной Руслановой и музыкантом Эдди Рознером. В начале 50-х годов Л. А. Русланова отбывала срок в Магадане, в женском ОЛПА № 5, а Э. Рознер — в мужском ОЛПА № 3.

К Лидии Андреевне у мамы было четко выраженное отрицательное отношение. Вот строки из ее письма: «Та, которая пела «Валенки», звали ее Людмила Русланова (я умышленно сохраняю оригинал письма. — В. Р.). Я ее терпеть не могла и ее «Валенки» тоже. Это была нахальная, иногда подшофе, особа. Это общество не для меня».

Причин своей неприязни мама не объяснила. Возможно, это было связано с тем, что в привилегированном лагере, где отбывала срок Л. А. Русланова, у нее были свои льготы и возможности, которых не было у других эчек. И это, естественным образом, вызывало среди голодных и холодных чувство неприязни к «блатной» конкурентке.

* Вероятно, работа в этой организации была для мамы и ее сотоварок очень похожим на трудовой энтузиазм, описанный А. И. Солженицыным в «Одном дне Ивана Денисовича», — «очень быстро, за менее года построили «Дальстройпроект», красивое здание из белого кирпича; я там работала лет 4–5».

** Относительно Лидии Андреевны Руслановой: полной уверенности, что она была на Колыме, у меня нет. Воспоминатели пишут, что не была. А мама утверждает, что была. Не исключено, что мама встречала ее не на Колыме, а в Кислое. А то, что Русланова сидела в Иркутских лагерях, подтверждают многие свидетели. Но, возможно, ее привозили в Магадан на концерты для начальства? Это вполне вероятно. И жила в этом случае Русланова, естественно, не в гостинице, а в женском лагере.

Об Эдди Рознере у мамы сохранились более или менее положительные воспоминания, хотя он тоже пользовался в лагере немалыми льготами и возможностями: «Эдди Рознера я знала. Он организовал самостоятельную группу из артистов з/к мужского лагеря № 3 и нашего № 5. Из нашего лагеря одна женщина с ним жила, и у нее был от него ребенок. Но когда Эдди Рознера освободили и ее тоже, он от нее скрытно улетел в Москву. Она прибежала в аэропорт*, а самолет уже в воздухе. Тогда весь Магадан, где было восемьдесят процентов з/к, гудел по этому вопросу. Эдди Рознер прилетел в Москву и поставил фильм с участием молодой артистки. Фильм его я видела. А молодая артистка — Людмила Гурченко. Там в титрах фильма было имя Эдди Рознера. Потом, уже

спустя много лет, я видела по телику в Среднем** этот фильм — Эдди Рознера уже не было в титрах***. Говорили, что он уехал в Польшу».

И вот еще несколько строк об Эдди Рознере, но из другого письма: «Да, насчет Эдди Рознера. Как я уже тебе писала, его любовь в те времена была з/к, как и он. Она из нашего лагеря. Я ее знала и даже была мало-мало дружна. Имя, увы, не помню. И вот когда начальник нашего лагеря сослал меня на лесоповал за отказ, эта женщина говорила с Эдди Рознером, чтобы взял меня в их группу художником. Он со мной встретился, поговорил и пообещал взять в группу. Но на следующий день меня с лесоповала забрал конвой по распоряжению Маглага на строительство больницы № 1 в Магадане».

ЮЗЕФ

(часть вторая)

С Юзефом я рассталась не по своей воле в тысяча девятьсот пятидесятом году. Прошли годы и годы. После освобождения я еще дважды была замужем и оба раза счастливо, потому что меня действительно любили. Но Юзефа я никогда не забывала. И в этом, как ни странно, а может быть, и закономерно, мне помогало наше «родное» КГБ — оно регулярно напоминало мне о нем. Почему-то интерес к нему у КГБ был стойким и с годами не иссякал, а как бы даже возрастал. Очевидно, что набравшая обороты холодная война подталкивала шпиономию в стране. А тут еще и Юзеф перед самым носом наших славных чекистов помахал красной тряпкой. Живя после освобождения в Иркутской области, он женился и — надо же! — взял фамилию жены.

В пятьдесят восьмом году, когда я работала в Магаданской области на строительстве известкового завода в поселке того же названия, меня неожиданно вызвали в поселок Эльген, в районное отделение КГБ. Там меня в который раз спрашивали о Юзефе. Я, конечно, еще раньше

догадалась, что КГБ считают Юзефа затаившимся американским шпионом. Но я ведь знала Юзефа и понимала, что это все выдумки КГБ. Поэтому я стояла на своем, и ничего нового им не сообщила, лишь повторила нашу старую версию: еврей, родом из Черновцов, зовут Иосиф Иосифович Морис. И все! На вопрос, для чего он проник на территорию закрытой стройки под Китоем, ответ был один — ради меня.

В 1960 и в 1962 годах меня еще дважды вызывали в районное отделение КГБ в поселке Ягодное Магаданской области, где опять вновь и вновь задавались одни и те же вопросы о Юзефе. Я отвечала, как и раньше. Мне намекали, что Юзеф крайне опасен для нашей страны, убеждали меня, что я, как настоящая дочь своей Родины, должна помочь разоблачить скрытого шпиона, предлагали даже поехать к нему. Но я стояла на своем и от поездки, естественно, отказалась.

Юзеф свободно владел несколькими европейскими языками, и для КГБ этого было почти достаточно, чтобы подозревать его в шпиона-

* Единственный в то время аэропорт находился на тринадцатом километре Колымской трассы, т.е. практически в черте города.

** Среднее — поселок в Закарпатской области Украины между городами Мукачево и Ужгородом, отсюда и название.

*** Вероятно, это фильм «Карнавальная ночь». Но имя Эдди Рознера не упоминается ни в одном словаре по киноискусству, ни в двухтомном 1966 г., ни в одномтомном 1986 г.

же. Причастность же Юзефа к миру искусства только усиливала это подозрение. В 1946–1947 годах, когда в городе Ужгороде только-только открылся драматический театр, Юзеф работал в нем режиссером (или помощником режиссера?). Помню, что он принимал участие в постановке пьесы А. Е. Корнейчука «Платон Кречет», на генеральную репетицию которой мы ходили вместе с моим старшим сыном. В тот же период времени он написал несколько комедийных одноактных пьес, которые я переводила на русский язык. Но в КГБ полагали, что искусство служит только ширмой его шпионской сущности.

Конечно, я знала, что Юзеф никакой не еврей из Черновцов и что фамилия его была вовсе не Морис. На самом деле Юзеф немец родом из Мюнхена.

Единственное, что было правдой, так это его отчество, так как отца его тоже звали Иосифом. Его настоящая фамилия — Jschwendtner. Родился он действительно в 1910 году. И никакого отношения ни к американской, ни к немецкой разведкам не имел. Он был известным в свое время кинодокументалистом в Берлине. Насколько я знаю, он — один из авторов документального фильма о президенте США Ф. Д. Рузвельте. Еще я знаю, что у него был брат Роберт 1915 года рождения, мой ровесник.

Но все эти сведения я должна была унести с собой в могилу, ведь нашим чекистам ничего не докажешь, любые сведения они могут повернуть против человека. Поэтому я всегда отрицала какое-либо знание о прошлом Юзефа, кроме нашей официальной версии.

ПОЧТИ ЭПИЛОГ

Думаю, что есть прямой резон закончить это повествование строками из маминого письма от 18 августа 1990 года:

«Отправила в собес копию реабилитации — говорят, в девяносто первом году что-то насчитают. Прислали постановление Верховного Суда о том, что мне должны выплатить за по-

губленную жизнь двенадцать рублей, то есть зарплату за два месяца в новом исчислении. Вот падлы! Осиротили детей, погубили мою жизнь и дать такую милостыню — это только наши могут. Никому бы во всем мире не пришла бы такая подлая мысль. Суки! Извини, сын, сил нет».

